

Михаил
Дудин

МОЛОДЫЕ УЛЕТАЮТ

РАССКАЗ

пересекаю проспект Горького и сажусь на скамейку в сквере, разбитом на углу улиц в обрамлении глухих кирпичных стен. Возле самих стен посажены тополя. И они вымахали выше крыш и своими ветвями прикрывают, скрашивая, голые глухие стены.

Архитекторы называют такие брандмауэрами. Их много, этих брандмауэров на нашей петроград-

ской стороне. Да и в других районах старого города. Это не плод воображения строителей. Нет, никто не задумывал строить дома со стенами без окон. Это сделала война. Бомбежки и обстрелы. Это сделали «юнkersы» и «берты», тулость и страх, потому что жестокость есть обратная сторона трусости. И я на этих глухих стенах, на этих брандмауэрах, как на широкоформатных экранах времени, выпукло и отчетливо вижу огонь и пепел, снег и кровь, и женщину неопределенного возраста, и ее сухой взгляд, из-под платка, озаренный красноватыми отблесками пожара. Она тысячи раз гибла под обвалами стен в грохоте и пыли и снова оживала наперекор всему, потому что она была одинакова не только по стеганке и надвинутому на лоб платку, а по своей внутренней сути, и ей, этой женщине неопределенного возраста, не было ни числа, ни счета.

Пойди найди ее сегодня, через тридцать лет, в этом обновленном новым поколением городе. Она уже бабушка, и в уголках ее внимательных глаз, около затемненных временем морщинок, притаились мудрость жизни и уверенность опыта. Она может, как и я, на глухих и слепых стенах, оставленных войной, как на широкоформатных экранах, видеть прошлое и будущее. И она сидит рядом со мной на скамейке под голыми тополями, прикрывающими глухую и слепую стену, и смотрит на меня и узнает меня, и я ее узнаю тоже, и широкоформатный экран наполняется светом и возникает объемное изображение. И мы в четыре глаза вместе с ней смотрим в серый декабрь сорок первого года, и мы видим в четыре глаза ее, тогдашнюю, закутанную по брови в бабушкину шаль, она тащит санки. В санках кастрюли и ведра и какие-то еще странные посудины, и в каждой посудине по щепочке, чтобы не расплескалась вода. Она тянет эти санки, нагибаясь вперед всей податливостью птичьего тела. Она останавливается. Тяжело дышит и, наваливаясь грудью на веревку, сталкивает санки с места. Как бесконечно долгие ее путь от проруби до бегемотника. Но Красавица не может жить без воды. А воды в бегемотнике нет. От холода лопнули трубы. Тем, кто ухаживает за хищниками, легче: Отрыли убитую бомбой тушу слоницы Бетти и кормят и кормят их. А Красавица, создание редкостное и нежное, не привыкшее к холоду. Воду приходится подогревать, а когда нет воды, кожу Красавицы натерли вазелином, иначе она трескалась.

— Анна Петровна, — спрашиваю я. — А мясо бегемота годится в пищу? — и вдруг, взглянув в ее глаза, понимаю всю чудовищную нелепость своего вопроса и умолкаю на полуслове. И она, понимая мою нелепость, начинает говорить сама.

— Меня каждый день у проруби спрашивали женщины: Жива? Жива, — говорила я.

— Ну раз бегемот живет, то и мы выживем.

— И выжили. И Красавица мне как родная стала. А когда она умерла от старости, я на пенсию ушла. Новый бегемот моей Красавице... да разве можно их сравнивать. Моя умела нырять и, высывая из воды голову, подмигивать тому, кто ей нравится. Потом я включаю свой экран памяти, со своими орлами. И она вглядывается в их неподвижные фигуры, сидящие на бронзовом крыле ангела.

— Да, это оба наши. Когда Бетти убило бомбой, осколок от этой бомбы порвал железную сетку на вольере с орлами. И два орла улетели. Молодой и старый. Нам говорили, что они живут на Исаакие. Потом старик вернулся. А молодой улетел. Молодые и должны улетать. На то они и молодые...

Потом мы встаем со скамейки и идем через парк к станции метро и говорим друг другу «до свидания» около книжного киоска. И я, поворачивая на свою улицу с Кировского проспекта, убеждаюсь в том, что мне ничего и никогда не надо выдумывать.

МНЕ ничего не надо выдумывать. Иногда мне кажется, что выдумать ничего нельзя, потому что все есть.

Когда я, уходя из дома, говорю, что пошел к братьям, домашние знают, что меня в случае необходимости можно найти в зоопарке. Зоопарк недалеко от моего дома, под боком Петропавловской крепости, и я, сворачивая с Кировского проспекта, обхожу станцию метро и иду себе мимо театра Ленинского комсомола и Сытного рынка, мимо детских колясок и праздничных матерей, мимо студентов, пытающихся сосредоточиться над конспектами на скамейках парка, мимо отменно отужуженных и наищенных пенсионеров, играющих в домино и шахматы. Жизнь идет, и я иду в этой жизни, причастный всей своей сутью к ее вечному и непостижимому круговороту, и время, осязаемое как воздух, входит в мои легкие, растекается по телу и щекочет кончики пальцев. Кажется, что я начинаю ощущать его железистый привкус во рту и гортани.

Сегодня зима. Шахматных сражений нет, пенсионеры гуляют с внуками.

Иногда меня уже возле зоопарка встречает утробное рычание льва и детский смех там, на празднике удивления за высоким зеленым забором.

Я покупаю билет и сливаюсь с пестрой восторженной толпой, и она легко несет меня по утоптанному дорожкам, посыпанным песком, мимо клеток с тиграми и львами, равнодушно и сонно поглядывающими через железные прутья. Я прохожу мимо тигров и барсов, и глаза черной пумы горят жутковатым огнем даже при дневном свете.

Рядом с клеткой камышового кота старая гиена с болтающимся на лопатке, похожим на резиновый мячик, наростом ходит кругами по клетке, то ускоряя, то замедляя механическое движение. Она ходит так давным-давно, и ей ничего другого, очевидно, не придумать. Мне кажется, что, если ее выпустить на свет божий, она никуда не побежит, она начнет и на свободе это свое вращательное движение.

Потом я останавливаюсь около царства белых медведей, самых грациозных увалней на свете, движения их быстры и пластичны. Им не скучно. Их четверо, и пространство, отведенное им, достаточно для их разнообразных интермедий. Они прирожденные артисты. Они все время в движении, и около их вольера всегда толпятся и малыши и взрослые, смеются, кидают им конфеты и булки, и трудно понять, кто с кем и кто для кого играет.

Я обхожу олений и лосей, потому что в свое время встречал лосей в лесу и видел их во всем царственно-прекрасном блеске, могучих, красивых, незаменимых в том мире, который их создал, из которого они возникли. Впрочем, сейчас зима — часть их стихии, — и они не выглядят жалкими и приниженными, в них появляется какая-то доля врожденной гордости, естественной значимости и необходимости.

Потом я иду к орлам, к приземленной гордыне неба, и долго смотрю на каменную невозмутимость, на их полуприкрытые, как бы остановившиеся глаза, полные взрывной страсти, за показной неподвижностью равнодушия. Зимой их мнимая апатия усиливается, и они часами сидят, не поворачивая голов, не переступая ногами в железных башмаках. То ли они ждут неба, то ли грезят им наяву в чутком полубытии вынужденного ожидания. Они всегда вызывают во мне чувство восхищения и уважительного внимания к их величественным особам.

В самом большом вольере с бетонными скалами у меня есть мой знакомый орел. Орлан-белохвост. Я его знаю лет тридцать, а может быть, и больше. Я останавливаюсь и долго смотрю на его глаза, полужакрытые желтоватой пленкой, на его крючкообразный клюв, вытянутый параллельно горизонту над коричневато-серым оперением мощных, даже в своей вынужденной скванности крыльев.

Он неподвижен.

Но для меня он весь движение, и

облака пространств и времен плывут, обтекая его крылья, его грудь, покачивая слегка его веретенообразное тело в своих легких и бесконечных струях.

Я СМОТРУ на моего орла и вижу январь сорок второго года.

Мы идем по пустому, заваленному сугробами Невскому. Идем вдвоем с моим другом, художником Борей Утковым. Бредем, еле переставляя ноги, не стяхивая с плечей и шапок инея, который сыплется на нас с провислых толстых, как пожарные шланги, проводов. Мы идем к Борину учителю, знаменитому художнику. Нам надо до резку раздобыть у него линолеума для нашей дивизионной газеты «Знамя победы». Нас за этим и послал наш редактор из того места, где стоит и готовится к бою восьмая особая бригада после эвакуации с полуострова Гангут.

Борин учитель живет где-то на углу Исаакиевской площади и улицы Гоголя. У него там на пятом этаже и квартира и мастерская. И я знаю эту квартиру до мельчайших подробностей и могу найти в ней все с завязанными глазами, потому что Боря сотни раз мне рассказывал о ней в бессонные минуты откровений солдатской жизни.

Мы останавливаемся около Дома книги, и, присаживаясь на сугроб, захватываем горстями снег и кладем в рот, потому что во рту от голода и усталости сухо, как в Сахаре.

Мы несем Борину учителю подарок — банку консервов и полбуханки хлеба. Банку нам дал редактор, а хлеб мы скопили сами.

Когда мы добрались, наконец, до Исаакиевской площади, стало уже темно. Ошупью по осклизлой лестнице мы поднялись наверх и нажали кнопку. Нажали раз... и два, и потом вперемежку, сначала Боря, потом я, нажимали на кнопку, стучали и кулаками и ногами, и все бесполезно. Потом спустились вниз и нашли дворника.

— Электричество отключили, — говорит нам женщина неопределенного возраста (во время блокады все женщины Ленинграда были неопределенного возраста). Потом она узнает Борю и говорит, что Бориного учителя дома нет и больше никогда не будет.

Нам становится не по себе, а женщина говорит, что у нее есть ключ от квартиры учителя, и если мы хотим, она может нас проводить в квартиру и даже разрешит нам остаться в ней на ночь. У нас было мало времени. Утром согласно предписанию мы должны были быть в редакции.

Мы вошли в мастерскую. Боря, подойдя к столу, зажег свечу и прикрыл язычок пламени ладонью, так как надо было соблюдать светомаскировку, и из разбитого окна дуло запустением.

— Иди сюда! — позвал меня Боря, и я увидел на подрамнике в мерцающем свете свечи на крупнозернистой белой бумаге широкими штрихами коричневого карандаша написанный силуэт орла и сзади его едва означенный легким штрихом купол Исаакия. Схематичность и незакономерность рисунка как-то подчеркивали характер орла. Его силу, стремительность.

— Смотри сюда, — сказал Боря и приподнял свечу. И сноп света упал на такой же лист бумаги, лежащей на столе, и таким же коричневым карандашом в той же незакономерности на нем были написаны два орла. Тот, что был изображен на первом листе, сидел теперь грудью к нам, распустил правое крыло, а слева от него сидел точно такой же орел, только чуть поменьше.

— Он никогда не писал птиц. Он писал Летний сад, Неву, иногда портреты, — сказал Боря. В это время начали бить зенитки. Они были где-то совсем рядом, и их оглушительный лай гудел в мастерской. За окнами замелькали мертвенные сабли прожекторов. Боря потушил свечу, мы подошли к окну.

И начался фантастика. Голубоватое лезвие света, стремительно скользнув по куполу собора, задержалось на какой-то промельк

времени на бронзовой в зеленых подтеках фигуре ангела, держащего факел, и бронзовое пламя в факеле вспыхнуло синим огнем. Потом луч прожектора сместился по крылу ангела вправо. И мы увидели двух орлов, сидящих рядом. Один был чуть побольше другого, совсем как на том, лежащем на столе листе, и если бы не эти рисунки, сделанные Бориним учителем, последние рисунки в его жизни, мы бы наверняка не поверили в тех живых орлов, сидящих на крыле ангела, которых только что наблюдали в холодном свете прожектора.

Это было необычно, как, впрочем, все в этом городе, где трагедия и мужество обнажили до предела и суть человеческих поступков, и истинное значение и цену вещей и всего замкнутого мира.

Боря спрятал рисунки в папку, а папку спрятал в шкаф. Потом мы нашли за шкафом рулон линолеума, закрыли дверь на ключ и спустились в дворничью. Мы, не сговариваясь, отдали женщине вместе с ключом от мастерской хлеб и консервы и поскорее, чтобы не видеть, как она начнет есть хлеб, потому что сами были голодны, вышли на мороз, в пустоту и неожиданность, и пошли в свою особую бригаду, поочередно неся рулон линолеума.

Я всегда вспоминаю это около вольера с орлами, потому что орлан-белохвост очень похож на того, которого мы видели с Борей Утковым январской ночью сорок второго года из окна мастерской его учителя.

И ВРЕМЯ снова сместилось перед моими глазами и перепутало последовательный ход событий, устремляясь куда-то, как река по известному только ей руслу.

И я вижу тусклый осенний день. Низкое мокрое небо, придавленное к земле. И землю, размытую холодным морозящим дождем. Осклизлую глинистую землю под Колпином около кирпичного завода. Все уже разошлось, а я все стою около желтого бугорка глины, и в моих ушах все еще живет, тянется и рвется нестройный гул прощального салюта. Мы только что похоронили Борю Уткова. И больше никто на свете не увидит его широко раскрытых глаз с выпуклыми белками, ни округлых с ямочками щек, ни ослепительной улыбки и пленительной, как откровение.

Это я пойму потом, день или два спустя. Боря погиб в бою. Он не мог погибнуть иначе. Во время боя он был на переднем крае со своим альбомом. В минуту передышки он делал карандашный набросок кого-то из своих товарищей, чтобы вырезать его портрет на линолеуме и завтра напечатать в газете. Начался контратака. Убило командира роты. И Боря взял команду на себя и поднял оставшихся солдат навстречу идущим фашистам, и пулеметная очередь прошла ему грудь и альбом с зарисовками, засунутый за борт шинели.

Время идет. Сколько морозящих дождей и белых снегов, прошло с той поры над глинистой землей под Колпином... Но когда я стою здесь перед вольером с орлами, что-то начинает ныть внутри меня, наверное, это пустота от той части моей души, которая осталась там вместе с Борей.

Что бы мог сделать в жизни Боря Утков?! Он нес в своей душе огромный заряд прекрасного. Он и умер прекрасно, лицом вперед, смяв своей грудью пулеметную очередь и придавив ее к земле. Он заглянул в упор в глаза смерти и не испугался ее, потому что любил прекрасное и верил в его торжество и в Человеке и в Мире.

МНЕ всегда бывает легче дышать после свидания с орланом-белохвостом, потому что воспоминания мои связывают начала и концы бесконечной нити жизни, и ее круговорот я начинаю ощущать в себе самом, как причастность ко всему существу.

И я ухожу из зоопарка, из этой восторженной толпы родства и удивления. Около улицы Олега Кошевого